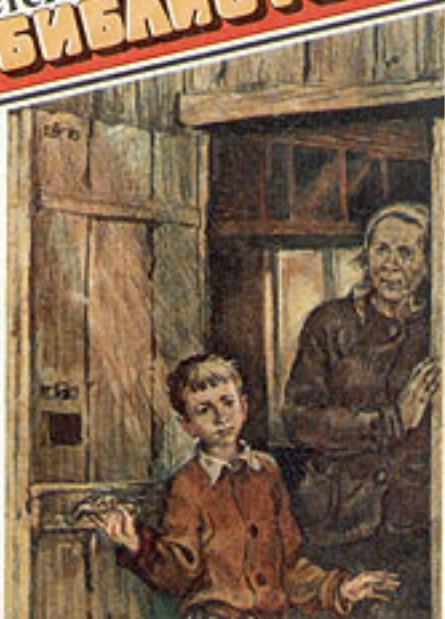


Альберт
ЛИХАНОВ

Детская
БИБЛИОТЕКА



Альберт Лиханов
Детская библиотека

1985

Лиханов А.

Детская библиотека / А. Лиханов — 1985

Повесть о тяжелом военном детстве.

Альберт Лиханов Детская библиотека

В третью военную осень – да уж, пожалуй, это и не осень была, а начало зимы: на улице свистал знобкий ветер, перегонял по дороге белые охвостья снежной крупы, больно сек ею лицо, выжимая слезы, хотя на календаре числилась еще осень, и я не забыл густой дух картошки, жаренной на рыбьем жире, праздничного объедения, которым мы отметили октябрьскую годовщину, – так вот в третью военную осень, сразу после каникул, я записался в библиотеку.

Я? Записался?

Это только так говорится. И вы сейчас поймете почему.

После уроков Анна Николаевна не отпустила нас по домам, а раздала узкие полоски бумаги, на которых под жирной фиолетовой печатью – честь по чести! – было написано, что такой-то или такая-то действительно учится во втором классе девятой начальной школы.

– Вот! С этой! Справкой! – разделяя слова, делая между ними паузы и, таким образом, не просто объясняя, а внушая, вдалбливая нам правило, которое требовалось запомнить, Анна Николаевна разъяснила и остальное. – И письменным! Поручительством! Мама! Вместе! С мамой! Вы! Пойдете! В детскую! Библиотеку! И запишетесь!

Детское ликование трудно остановить.

Да и не нужно его останавливать, потому что это ведь стихия. Ветер, например, можно остановить? Или дождь? Или бурю там, всякие, например, громы и молнии? Наберись терпения, подожди, стихнет ветер, промчатся тучи, и снова будет так, как было до стихии.

Поэтому наша мудрая Анна Николаевна только улыбнулась, когда мы заорали на радостях, заколготились в своих партах, как в коробах, отошла в сторону, прислонилась к теплой печке и сложила руки калачиком.

Теперь самое время объяснить, отчего уж мы так возрадовались.

Подумаешь, скажут нынешние ребята, делов-то – в библиотеку записаться, да это ж запросто, заходи в любую, покажи дневник, и вся недолга!

То-то и оно, что скажут так нынешние ребята.

Мы жили в другое, хоть и не такое, может, давнее время, и много тогда было всяких правил, которых теперь в помине нет.

Вот, например, поручительство.

Мы утихли, уgomонились, Анна Николаевна отошла от печки к своему столу и снова стала объяснять.

– В письменном! Поручительстве! Мама должна указать! Место! Своей! Работы! Должность! Домашний! Адрес! И написать! Что в случае! Потери! Книг! Она! Возместит! Утрату! В десятикратном! Размeре!

Вот вам что такое поручительство!

После шквала радости по классу прокатился сдержанный вздох.

– В десятикратном? – воскликнул кто-то с ужасом.

– Да, – сказала Анна Николаевна. – В десятикратном! Теперь вы понимаете свою ответственность? – спросила она уже обыкновенным, спокойным голосом.

Можно было и не спрашивать. Без всякого сомнения, штраф за потерянную книжку в десятикратном размере выглядел чудовищным наказанием, но отказаться от него не мог никто, никакой взрослый, ведь не зря же в поручительстве надо было указать место работы. Выходило, книжки читать будем мы, и терять, если доведется, тоже будем их мы, а вот мамам придется страдать из-за этого, будто мало им и так достается.

Да, мы росли в строгости военной поры, твердо зная, что взрослый, опоздав на работу, попадает под суд, а горсть гороха из колхозного мешка обещает тюрьму.

Может, мы оглядывались на каждом шагу, боялись поднять голову, засмеяться? Нет! Жили, как живут люди всегда, только с детства знали: там-то и там-то есть строгая черта, к которой лучше не приближаться. Так что Анна Николаевна просто предупреждала об этой черте. Внушала нам, второклассникам, важную истину, согласно которой и мал и стар зависимы друг от дружки, и коли ты забудешь об этом, забудешь о том, что книжку надо беречь, поглубже прятать в сумку или даже за пояс, под курточку, и потеряешь по рассеянности или еще по какой другой, пусть даже уважительной причине, маме твоей придется отвечать за тебя, плакать, собирать по рублю деньги в – десятикратном! – размере или, того хуже, у нее на работе из-за твоего ротозейства начнутся неприятности.

Поручительство, оно и есть поручительство.

Повздыхав, зарубив себе на носу жестокий размер ответственности и еще одно правило, по которому мама должна прийти сама вместе с тобой, захватив при этом паспорт, мы вылетели на волю, снова ликуя и толкаясь.

Дело в том, что все мы давно уже научились читать – соответственно возрасту, конечно же, запросто разделявались с тонкими, еще довоенными, клееными-переклееными книжечками, которые давала в классе Анна Николаевна, но вот в библиотеку нас не пускали, в библиотеку записывали почему-то лишь со второго класса.

А кому в детстве не хочется быть постарше? Человек, который посещает библиотеку, – самостоятельный человек, и библиотека – заметный признак этой самостоятельности: все видят, как тыходишь в нее и выходишь обратно.

Может быть, этот счастливый момент и не запомнился мне так хорошо и так подробно, если бы шло все своим чередом, и как только я пришел из школы, мы бы отправились в библиотеку.

Увы! Мама была на работе, а у бабушки моей, маминой мамы, ясное дело, совсем другая, чем у меня, фамилия, и кто же поверит, что она именно бабушка, а не первая встречная старушка или там какая-нибудь безответственная соседка.

Бывает вот так, к сожалению: умом-то человек все вроде бы понимает, а с чувствами сладить не в силах. Вот и я – все понимал, а хныкал, как дошкольник. Такая обида накатила, даже не знаю – на что, на кого? Я забился в угол, затирая рукавом слезы и тяжело сопел, а бабушка гремела кастрюлями в своем углу.

Так вот всегда заканчивались наши сражения: моим сопеньем и ее громыханьем.

Досадно, конечно. Понимаешь, что никто не виноват, но ведь дело-то сорвалось! Завтра все придут в школу и начнут хвастаться библиотечными книгами, а мне придется отворачиваться, делать вид, что я глух и нем, или выдумывать какую-нибудь небывальщину.

Хорошо еще, мама сразу поняла, что я неспроста сию тихий над тетрадкой и не могу решить два легусеньких примера по арифметике, быстро выяснила причину, легко рассмеялась, вырвала листок из чистой тетради и своим размашистым, летучим почерком написала поручительство.

Что правда, то правда, моя мама могла одним всего-навсего словом или вот как теперь – росчерком пера – сменить погоду на улице, переломить настроение, разглядить бабушкины морщины, а меня заставить глубоко вздохнуть и жить по-новому.

Противный ветер за окном стих, и в фиолетовых, почти чернильных сумерках вдруг повалили лохматые снежинки. Новый снег!

Дышать стало легче, и я освобожденно рассмеялся.

Чудесница эта мама!

А она достала из комода свой паспорт и сказала, обращаясь к бабушке:

– Сходите туда завтра вдвоем. Я-то поздно ведь прихожу. Объясни, люди же в этой библиотеке, поймут.

И завтра мы пошли.

Как любила бабушка, взявшись за руки, и я уже не рядился с ней, не спорил, не отстаивал самостоятельность, не думал о том, чем буду оправдывать свою девчачью послушность, если попадется знакомый народ. Я думал о том, как выглядит эта самая библиотека – ведь я уже был в ней и, представьте себе, не однажды.

Впрочем, тогда это была не библиотека вовсе – табачный магазин. И всякий раз я заходил туда с отцом, а он покупал себе папиросы в знаменитом на весь город и единственном табачном магазине.

Чем он был знаменит? Во-первых, тем, что о нем много говорили. Я то и дело слышал, как взрослые, даже женщины, спрашивали друг друга:

– Ты была в табачном магазине? Ах какая прелесть!

Что может быть прелестного в магазине, да еще табачном, я не понимал, но потом мы с отцом шли откуда-то куда-то, и он сказал мне:

– Кончились папиросы. Давай-ка зайдем в знаменитый табачный магазин!

И мы зашли.

Да. Мы зашли, и всякий раз я попадал в этот магазин с отцом, а это означало, что в табачный магазин мы заходили до войны, и я не уставал удивляться, а в первый раз и вовсе онемел от замечательной красоты.

Дело в том, что есть такое вятское искусство – обработка капа или капокорня. Кап – это нарост на березе. Будете в березовой роще, приглядывайтесь повнимательнее к деревьям, и обязательно хоть на одном, да увидите такой овальный нарост, это и есть кап. Он и внизу нарастает, на самых корнях, это уже капокорень.

Березу, как всякое дерево, можно спилить, можно топором колоть, а кап никакой топор не берет, такой он твердый. Вятские мужики – неизвестно когда? – научились все-таки кап пилить острыми и тонкими пилами, потом шлифовать, полировать до блеска и лаком покрывать. Получаются дощечки – от лака блестящие, прямо стекло, хотя и непрозрачные, ясное дело. Скажем так: будто сквозь стекло проступает береза, только не ствол ее, а завитки, узоры чудные, кружева. Это каповый нарост так древесную ткань свил. Из капа шкатулки делают, табакерки там, пудреницы, например, для женщин, мелкую, в общем, всячину, и никогда никто не знал, что можно из этих дощечек целую комнату сделать. Целый магазин!

Когда мы первый раз туда вошли, я прямо на пороге замер. Магазин небольшой был – комната средней величины, меньше школьного класса раз в пять или в шесть – и стены как будто облиты прозрачным льдом, а за ним кружатся, растекаются необыкновенные разводы – то цветы, то облака, то просто неведомый, странный рисунок, и все это одного оттенка, коричневого и оттого теплого. Холодное стекло, даже лед, и – теплый цвет. Да еще прилавки точно такие же.

Что такое кап и капокорень, я, конечно, уж потом узнал, много лет спустя, постарше или совсем взрослым, а тогда я стоял возле порога, тараторил во все глаза, и день был ясный, послеобеденное солнце пробиралось по крышам, среди печных труб, заглядывало в оба магазинных окна, отражалось в лаковых стенах, дробилось на зайчики, высвечивая зеленые коробки папирос с непонятным, но таинственным названием «Герцеговина Флор», силуэты всадников на коробках «Казбека», желтые шкатулки табака для морских, наверное, капитанов, потому что назывался он «Капитанский». Этот капитанский табак – одна коробка была распечатана – медово светился под витринным стеклом в окружении веера черных и оттого торжественно прекрасных трубок с матовыми боками, и я подумал: как было бы здорово, если бы отец закурил трубку с таким табаком!

Вот выходим мы из магазинчика, он останавливается, не спеша раскуривает трубку, и мы шагаем с ним рядом, и все прохожие останавливаются: еще бы, в нашем городе никто не курит трубок. По крайней мере, я ни разу не видел, чтобы по улице шел человек и курил себе трубку. Наверное, это потому, что наш город сухопутный и морских капитанов здесь не бывает.

Вот такие мысли пришли мне в голову, пока я стоял возле порога табачного магазина необыкновенной красоты и вдыхал опасные и в то же время прекрасные запахи, которые издавали все эти цветные коробки и пачки. Конечно, пахло табаком, но, смешиваясь, все эти запахи образовывали какую-то горьковатую, а оттого неприторную сладость.

Может, это была сладость взрослой мужской жизни? Не знаю, может быть. Я не успел в этом разобраться. Ведь это было до войны.

Все, что было до войны, казалось мне освещенным ясным и мягким светом незакатно-солнечного дня, того самого, когда мы с отцом зашли в табачный магазин.

Солнце не стояло над головой, оно брело по крышам, тени становились длиннее и чуточку темнее, и моя душа осязала прозрачность воздуха, бордовый цвет кирпича, от которого отстала штукатурка, и даже, кажется, невидимую дугу, след ласточки, размашистый ее полет в покое и сладкозвучной тишине.

Такой мне казалась жизнь до войны.

Там, до войны, мы были с отцом в табачном магазине, он купил «Беломор», три пачки с голубыми дугами над картой, и магазин сверкал древесными льдинами, но потом началась война, табак стали давать по карточкам, магазин закрылся, и вот туда переехала детская библиотека.

Чем жива человеческая память? Событиями и лицами, поступками и словами.

Однако, если даже с точностью выстроить их друг за дружкой, вспомнив, что следовало за чем, если даже по словечку вспомнить, что, кто и когда сказал, это окажется всего лишь навсего сухой перечень событий. События и лица, поступки и слова, давно ушедшие от тебя, вернутся снова, если их соединить памятью чувств.

Что я почувствовал, вновь переступив знакомый порог?

Сильную обиду, обделенность, обман. Будто я что-то потерял и знаю, что потерял без возврата, навеки.

Бабушка подошла к прилавку, вела там тихий, очень вежливый разговор, а я стоял, как тогда, до войны, у самого порога, и было на душе у меня пусто, будто я ночью иду по пустой дороге. И батя мне все млился, папка – вот он там стоял, не где бабушка, подальше, у самого края прилавка, время от времени поворачивался ко мне – покупал «Беломор», платил деньги, брал пачки, а сам так часто-часто на меня оглядывался, словно боялся, что я убегу, исчезну, и улыбка не сходила с его лица, а я ведь тогда таранился на красивые цветные коробки, на табак и собирался спросить отца, почему он не купит себе трубку, – вот было бы здорово, – да так и не спросил.

И много чего другого не успел я сделать там, до войны, пока отец был так неправдоподобно близко – только руку протяни. Например, порыбачить не успел, сходить с ним на охоту.

Я вспомнил, как отец уходил с ружьем, яркой вспышкой озарило меня прошедшее, но не забытое мгновенье, точнее, чувство: мы с мамой провожаем его до угла, где почтовый ящик, я обещаю не плакать, взрослые объясняют, что на охоту мне еще рано, и я как будто хорошо понимаю это, больше того, мне становится страшно, когда я представляю себе, как громко жажнет выстрел, – так вот, я обещаю не плакать, но не могу сдержаться и навзрыд плачу, когда отец, оглянувшись в последний раз, отходит от нас. Закатное солнце слепит меня, бордовое, зловещее, грозное солнце, на фоне которого раскачивается кепочка отца, вещевого мешок и ствол ружья, мне отчего-то душно, тяжело на душе, я боюсь за отца – почему он уходит от нас,

зачем эта охота, пусть лучше вернется, мама берет меня на руки, бегом несет домой, точно спасает от беды, и в глазах у нее я тоже вижу слезы.

Как приходит тревога в дом? Плачем малыша, которого напугало красное, словно налившее кровью, закатное солнце, и вслед за ним заплакала мама, а через день вернулся расстроенный отец – охота не удалась, даже ни разу не выстрелил; ну хорошо, что же делать, а он хмурится и ломает спички, закуривая «Беломор».

Что это было? Предчувствие? Но война началась через год, и много было еще и смеха и слез до ее прихода, а я помнил тот вечер и чувствовал ту тревогу...

Почему она соединилась с новой?

Я оглядывал полки, за которыми лежали лохматые от старости книги, я вспоминал коробки с «Герцеговиной Флор» – что это имя значит? – с «Казбеком», с медовым табаком для морских капитанов, я вспоминал черные суровые трубки, чисто мужские вещи, и поражался холодному равнодушию блестящих витрин, которые так легко сменили свое содержание, так легко забыли, что лежало здесь раньше.

Я втягивал ноздрями воздух, надеясь услышать хотя бы напоминание о сладком запахе довоенных табаков, но чувствовал только дух клея и старой бумаги.

Правда, он не был противным, этот новый запах.

Они смотрели на меня удивленно, бабушка и библиотекарь, видно, окликнули не раз, пока я вострепнулся и шагнул к витрине.

– Здравствуйте, – запоздало сказал я и стянул шапку.

– Нет, нет, – замотала головой старушка, – шапку не снимай.

– Полагается, – неуверенно запротестовала бабушка.

– Вот раздобудем дров, тогда будет полагаться, – ответила старушка библиотекарь. – А пока холодно.

Сама она была одета очень странно. На голове лохматая ушанка, вместо тесемок у которой настоящие ленты, и ниже подбородка они завязаны в бант, каким девчонки завязывают волосы – такой же широкий, похожий на бабочку. Сама шапка, правда лохматая не вся, не целиком, кое-где выдраны целые клочья, будто эту шапку рвали злые собаки. А вот пальто на старушке совершенно необыкновенное, такого я еще не видал. Оно, кажется, бархатное, переливается, когда старушка шевелится, да еще сверху нависает пелерина, а на ней красивый светло-серый воротник.

Потом, когда мы выйдем на улицу, бабушка скажет то ли мне, то ли самой себе в задумчивости: «Такие пальто раньше барыни носили», – а пока я разглядывал библиотекаршу во все глаза и едва сдерживался, чтобы не прыснуть. Этот ее величаво-печальный наряд завершали перчатки с отрезанными пальцами, чтобы удобней писать.

– Ну, – сказала старушка, выслушав бабушкины объяснения и разгладив бумажки, которые та подала ей. – Как тебя зовут, фамилия?

Я произнес погромче свои скромные данные, ведь ушанка у нее была накрепко завязана таким широким бантом, что она, наверное, плохо слышала, но старушка, ничуть не обидевшись, улыбнулась:

– Кричать не надо, выбирай лучше книгу.

Я столько ждал этого мгновения, что – как это часто бывает – прозевал его.

– Выбирать? – переспросил я.

– Ну да, – сказала старушка, – чего ты хочешь прочитать?

Я топтался перед витриной, вглядываясь в потрепанные обложки, шевелил губами, читая незнакомые мне имена и названия, всматривался в стопу книг подальше, за спиной у библиотекарши, и с каждым мгновением все ясней понимал, в какой я попал конфуз. Ведь я не знал, ну совершенно не знал, какую книгу хочу прочитать.

Теперь настала очередь старушки разглядывать меня. Может быть, я еще и поэтому потерялся – меня жег ее взгляд. Раз или два я, словно жулик, укравший что-то прямо на глазах у народа, мельком посмотрел на нее. Она улыбалась, надо же, какая веселая, и бабушка отправилась на мое спасение. Откашлявшись, подсказала мне:

– Сказки Пушкина?

Я помотал головой. Я не хотел признаться даже себе, что оказался такой маленький и беспомощный. Что, мечтая записаться в библиотеку, я, как последний остолоп, не знаю, чего бы мне почитать. Сказки Пушкина мне читала мама, когда я был совсем крохотным, да и по радио я их слышал десять раз, не меньше. Нет, я не хотел брать первую же книгу, какую мне подсказали.

– Он хорошо читает? – неожиданно спросила библиотекарша, обращаясь к бабушке поверх моей головы, и я, наверное, покраснел, словно мак. Обо мне спрашивали при мне, как спрашивают о самых маленьких, будто я сам не в состоянии ответить – есть у взрослых такая обидная манера. А бабушка чего-то размышляла, то ли задумалась о чем-то другом, то ли вопрос не поняла, молчала себе, разглядывая меня, точно не знает, как я читаю.

И я воскликнул не без отчаяния:

– Свободно!

– Свободно читает, – подтвердила бабушка, очнувшись. – По чтению «пять».

Ну, хотя бы! Да, по чтению «пять», несмотря на то, что это не самое лучшее доказательство.

Я все еще трепыхался, все еще отстаивал в душе свою серьезность, а библиотекарша протянула руку с обрезанными перчатками к полке и взяла толстенную книгу. Как она угадала? Я хотел бы почитать вот такую толстую, мохнатую, это значит зачитанную и оттого, бесспорно, интересную книгу.

– Вот, – сказала она. – Рекомендую именно тебе. Борис Житков. «Что я видел».

«Что я видел» – будто эхо, отозвался я сам в себе, совсем неосознанно, механически, то ли спрашивая, то ли утверждая – что я видел-то, на самом деле?

– Эта книга, – сказала старушка, вдруг отвернувшись к окну, – про то, как люди жили до войны, и про то, как мальчик вроде тебя путешествовал на пароходе.

Я кивнул. Бабушка облегченно вздохнула.

Помнишь ли ты свою первую книгу?

Нет, не ту, что прочитала бабушка или мама возле постели, когда у тебя была ангина и тебе отчего-то хотелось плакать над каждой страницей, и не ту тонкую книжицу, по которой ты, словно птенец, пробуя звуки собственного голоса, складывал из букв знакомые слова.

Нет, я спрашиваю про книгу, которую ты выбрал – или тебе помогли выбрать – среди множества других, которую ты раскрыл дома, оставшись один, и которая навсегда запала в твою память чудесными мыслями, волнующими словами, чернотой отчетливых, красивых букв, рисунками, переплетом – прекрасным или вовсе неказистым и даже запахом – резким запахом типографской краски, смешанной с клеем, или запахом какого-то другого дома, в котором, перед тем как оказаться у тебя, побывала эта книга?

Я помню очень хорошо.

Книга «Что я видел» была сразу – большой и толстой. Выпущенная перед войной, к третьей военной осени, она вспухла от прикосновения многих рук, желтая картонная обложка обтерлась и потрескалась, как будто это кусок глинистой земли, пересохшей от безводья, а внутри на некоторых страницах встречались следы стаканов неаккуратных читателей и даже чернильные кляксы. Но тем милей казалась эта книга!

Едва выучив уроки, я уселся за свой «десерт», за это лакомое блюдо. Герой книги плыл по Волге на пароходе, и вместе с ним плыл я, но ведь все дело в том, что там, на Волге, еще

зимой шла война. Каждое утро Анна Николаевна передвигала на карте в нашем классе красные флажки, и прошлой зимой там, на Волге, у самого Сталинграда, флажки словно застряли. Анна Николаевна приходила хмурая, можно было подумать, что она весь день останется такая, но учительница постепенно оживала, смеялась, даже смешила нас какими-нибудь шутками, а вот по утрам хмурилась, пока флажки на Волге вдруг зашевелились, двинулись вперед, к границе.

Потом она нам рассказывала, что знала про Сталинградскую битву, про то, как наши сперва защищались, как держались за каждый камень, а в это время готовились силы, подошли к Волге новые войска и, наконец, наши окружили фашистов, захватили клещами, будто какой-нибудь ржавый гвоздь, да и выдернули его.

В кино тогда показывали пленных немцев, как идут они длинными колоннами, откуда-то из-за горизонта, а наши командиры в белых полушубках смотрят на них презрительно. И вокруг одни печи торчат вместо домов.

А в книжке, которая мне досталась, никакой войны нет, по Волге плывет пароход, похожий на льдину, такой он белый и чистый, и на нем плывет мальчик, который видит много всяких интересных вещей.

Первый раз в моей жизни прошлое не походило на настоящее и оттого было еще прекраснее.

Я читал книгу, наслаждался ею, точно глотал вкусное мороженое, время от времени вставал из-за стола и шел к бабушке, вспоминая, как мы записывались в библиотеку.

– Но почему ты сказала, что так раньше барыни одевались?

– До революции, – говорила бабушка. – Видать, приезжая, старушка-то!

– Откуда ты взяла? – смеясь, спрашивал я.

– Да я и сама не знаю откуда, – улыбалась бабушка.

Я снова возвращался к книге, прочитывал еще одну главу и переспрашивал бабушку:

– Значит, через десять дней, если не прочитаю, надо вернуть?

– Не вернуть, а продлить, – поясняла бабушка. – И книгу можно не носить. Зайдешь, попросишь, чтобы продлили.

– Надо ее в газету обернуть, – говорил я.

– Да и корешок неплохо подклеить. Страницу какую, если порвана.

Так мы вспоминали строгие библиотечные правила, выполнять которые мне хотелось неукоснительно и с радостью.

– А вдруг она графиня? – спросил я бабушку уже перед сном.

– Кто? – испугалась бабушка.

– Ну, эта старушка? Библиотекарь?

Мама рассмеялась. Весь вечер она слушала, как мы, перебивая друг друга, говорили о библиотеке, о строгих читательских правилах, просила меня прочитать вслух главу-другую из библиотечной книги, хвалила за то, что читаю бойко, быстро, не спотыкаясь, громким голосом, с выражением. Рассказали мы и про старушку в барской шубе.

Мама рассмеялась, когда я задал дурацкий вопрос, а бабушка ничуть не удивилась.

– А что? – сказала она. – Все может быть.

Это же надо, к чему приводит неосторожное словцо. К настоящему скандалу! Почти к драке!

Сказанное мной накануне перед самым сном я никак больше не обдумывал. Стукнул кулаком в подушку, чтобы мягче была, повернулся на бок и провалился в сон, как в омут, ну а утром не до размышлений – бегом к умывальнику, бегом к столу, потом бегом в школу. Пока за парту не усядешься, не затолкаешь внутрь ее свой облупленный портфельчик, думать некогда.

Так что шестеренки, колесики, шурупчики, которые в голове крутятся, если думаешь, у меня в то утро еще стояли, еще не двигались, когда я, наспех переведя дыхание, брякнул снова, как вчера:

– А может, она бывшая графиня?

– Кто? – выдохнул Вовка. Все у него, как говорится, кругом пошло – и лицо, точно блин, и глаза, будто шарики, и уши, как кренделя.

– В библиотеку-то записался? – спросил я.

– Ну! – подтвердил он.

– Библиотекарша старушка была?

– Ну! – воскликнул он, уже догадываясь. – Она?

Я кивнул.

– Откуда ты взял? – жарко шепнул мне Вовка, приблизившись.

– Да ниоткуда, – возмутился я. – Пальто у нее такое, вот и подумал.

Я еще только подумал, я всего лишь навсегда предполагал, а Вовка уже прыгал между партами, в проходе, и орал на весь класс:

– Вы слышали? Старушка-то! В библиотеке-то? Графиня! Графиня!

Так рождаются слухи. И возникают нелепости, которые могут закончиться неприятностью и мордобоем. Напрасно на всех переменах того злополучного дня я подходил к людям из нашего класса и, взяв за пуговицу или даже за рукав, объяснял, что просто спросил, не графиня ли библиотекарша.

Мне показалось, говорил я, никаких фактов у меня нет, просто на ней очень странное пальто, до революции такие носили богатые барыни, но ничего объяснить было невозможно, народ словно сошел с ума: такое ясное дело, и никто не мог понять.

События того дня взбаламутились у меня в голове, поэтому я не мог вспомнить, кто именно мне отвечал, но вот сами ответы я помнил отлично, потому что они поражали до глубины души своей бестолковостью.

– Очень! Очень! – сказал мне кто-то в ответ на мое объяснение.

– Что – очень? – удивился я.

– Очень похожа на графиню, ты прав.

– Да я не знаю! Я просто спросил! Я подумал!

– Правильно подумал!

Фу ты! Я про одно, а они про другое.

– Да нет, это только такая мысль, – доказывал я другому.

– Чудак! Это здорово! – смеялся кто-то в ответ. – В нашем городе – и! – собственная! – графиня!

Сперва я всерьез стремился восстановить истину, потом меня смех разобрал от этой всеобщей бестолковости, а к концу дня едва сдерживался, чтобы не зареветь принародно.

Одна Нинка Правдина из всего класса справедливый диагноз поставила моей выдумке:

– Глупистика!

Но окончательно из себя вывел все тот же Вовка. На всех переменах, я заметил, он стремглав вылетал из класса, бегал по коридорам, разносил сплетню по этажам, а перед последним уроком, даже опоздав на него, он приблизил ко мне круглую, как шар, стриженую голову и прошептал торжественно:

– Еще и граф есть!

Я сорвался.

– Враль! Враль! – прошептал я Вовке с отчаянием, схватился за парту и, навалившись на друга всем телом, скинул его в проход. Есть такой школьный прием.

Тут же, конечно, разразился скандал, потому что все захохотали, Анна Николаевна застучала по столу указкой, чтобы уgomонить народ, а нам с Вовкой велела выйти из-за парты и подойти к печке. Отдохнуть. Охолонуться, как выжалась она.

Какое счастье, что Анна Николаевна никогда не выясняла отношений между нами. Кто и что сделал, сказал, подумал. Просто предлагала выйти вперед, пред очи, как она выжалась, класса. Постоять минут пять или даже десять, а потом отпускала за парту. Помогало замечательно. Все-таки торчать на виду у всех мало кому нравилось. Если кто-то поначалу хорохорился, то через пять минут это проходило и наступало уныние.

Конечно, вдвоем между партами, учительским столом и печкой стоять было легче, чем одному, но мы с Вовкой сопели и расстраивались оба, потому что никто не считал себя виноватым.

Нам бы, конечно, объясниться, хотя бы шепотом, хотя бы на уроке, когда мы, изрядно посопев, вернулись на свои места, но часто обида, будто маленькая и черная злобная собачка, бежит впереди понимания и мешает ему своим неслышным тьявканьем.

Уроки закончились, Вовка сорвался вместе со всеми, а я нарочно стал копаться в портфеле, чтобы не видеть его.

Не спеша я вышел на улицу.

Взбаламученность постепенно сменялась спокойствием, ясностью и тихой радостью: ведь дома меня ждала толстая книга. Это же надо! Я не успел ни рассказать про свою книгу, ни поспрашивать других – что им дали почитать. И все из-за одной глупой мысли – права все-таки эта великая отличница Нинка, – из-за своей глупистики! Неужто все-таки отличники не зря самые умные? В душе я презирал отличников, а теперь выходило – ошибался.

Я брел по заснеженной улице, лаская себя мыслью о том, как накину на плечи бабушкин платок – ведь никто меня не увидит, – придвинусь к печке, может, даже заберусь с ногами на стул и открою свою толстую книгу – есть ли наслаждение выше?

И вдруг увидел Вовку. Но если бы одного! Над Вовкой стоял парень из четвертого класса, я его встречал в школе, белобрысый такой, довольно упитанный пацан, с рыбьими, бесцветными глазами, и держал Вовку за воротник. Другой рукой этот мальчишка крутил противогазную сумку с учебниками и повторял:

– Кэ-эк дам! Кэ-эк дам! – Но бить Вовку не решался, а спрашивал: – Будешь еще? Будешь?

Что бы там ни было между мной и Вовкой – это наши личные дела. Во всем остальном мы были друзьями, и поэтому, не доходя шагов пяти, чтобы меня не достала противогазная сумка, я сказал большому парню:

– Эй, оставь! – И прибавил, как бы уточнил свою мысль: – Не имеешь права!

Раньше были популярными такие выражения о правах: имею право! не имеешь права! И даже такое, чуточку, видимо, хулиганистое – качать права. «Ты чо, мол, права качаешь?», «Имею право!»

Ну вот. А этот, с рыбьими глазами, ясное дело, никаких прав не имел держать тут за шиворот Вовку и крутить противогазной сумкой у него перед носом.

Впрочем, надо признаться честно, всякие эти разговоры о правах велись просто так, для понту – тоже хулиганистое выражение, то есть для блезиру, понарошку, для видимости приличия, просто так, чтобы изобразить справедливость, потому что больше всех права качала всякая шпана, хулиганье проклятое, которому никакие права не требовались, такие разговоры велись перед драками или еще какой другой несправедливостью для отвода глаз, дескать, для правого дела. Так что вопрос свой я задал под барабанный грохот собственного сердца, сжав покрепче портфель и примериваясь, как я шандарахну им этого белоглазого с противогазной сумкой.

Драться я не любил, больше того, предпочитал ретироваться, если собиралась толпа, где обычно начинали двое, а потом шло побоище – двор на двор, улица на улицу, школа на школу, а то и просто так – одни против других, и уж тут не поймешь, кто кого и за что, пока кто-нибудь не на шутку, а всерьез, точно заколотый, заверещит. Бывало, и правда, ткнут шилом, хорошо еще, если в мягкое место.

Сердце, словом, пошло ходуном, и я повторил как можно более нахальным тоном:

– Не имеешь права!

Белобрысый внимательно, с какой-то едва скрытой печалью посмотрел на меня и сказал не очень уверенно:

– Проходи! Тебя не касается! – И снова принялся крутить противогазную, довольно увесистую сумку перед Вовкиным носом. – Ну, будешь еще? Ты это выдумал? Про графиню?

Вот оно что! Про графиню? Ну, хорошо, даже если это и так, какое ему дело?

Я ему что-то вроде этого и сказал.

– Значит, есть дело! – ответил он, вновь вглядываясь в меня.

– Тогдапусти его, – велел я. Отчего-то сердце успокоилось. Уже не громыхало на всю улицу. – Это я придумал.

Вовка впервые взглянул на меня за все это время. Какой молодец, запоздало восхитился я им. Мог бы сразу сказать, что это не он, а я, но друг мой не из таких.

– Ты? – удивился парень.

Мгновение он стоял, все так же покручивая свою сумку, потом быстро шагнул ко мне и схватил за воротник – я даже отступить не успел.

– Кэ-эк дам! – сказал он мне. – Кэ-эк дам!

– Не имеешь права, – проговорил Вовка и замахнулся довоенным бухгалтерским портфелем на двух железных замках.

– Кэ-эк дам! – твердил свое рыбоглазый, но только говорил, видать, боялся ударить: хоть мы и второклашки, зато нас двое.

Я все-таки нашелся. Придумал такие слова, которые все объяснили.

– За что? – воскликнул я, поворачиваясь к нему лицом. – Ну за что?

Он отцепился от моего воротника и ответил обиженно:

– А за то!

– Но ведь бьют за что-то! – произнес я с выражением, будто артист на сцене. – Все остальное – мм, – я помычал, отыскивая нужное, единственно убедительное слово, и, к собственному удивлению, довольно быстро отыскал его, – варварство!

– А по-твоему не варварство – обзывать графиней замечательного и даже знаменитого человека? Который ни в чем не виноват! И недавно приехал в ваш город!

Парень даже покраснел от злости, а мы с Вовкой стояли разинув рты. Я лично ничего не понимал. Откуда этот пацан...

Он снова крутанул сумкой и сказал с отвращением, даже заикаясь от негодования:

– М-мелюзга!.. А то бы кэ-эк дал!

Белобрысый четвероклассник отвернулся от нас с Вовкой и пошел не оборачиваясь.

– А ты, дурак, толкался! – сказал Вовка, явно обращаясь ко мне. – Это же он и есть!

– Кто? – обернулся я к нему.

– Граф!

– Граф? – Ну этот Вовка. Он просто отупел сегодня. Ничего не понимает. И я закричал на него: – Но я же только подумал, ты можешь сообразить? По-ду-мал!

– Что она графиня?

– Ну, вдруг!

– Вот я и говорю, – улыбнулся Вовка. – Значит, он граф, раз ее внук.

Теперь уже я схватил Вовку за воротник. Заглянул ему в глаза. Но ничегошеньки в них не увидел – ни капли сомнения, ни тени смущения. Глаза у него были ясные и невинные, будто у младенца. Нет, подумал я, толковать сейчас с Вовкой – только время терять. Будем считать, что сегодня он болен. Слегка очумел, например. Подождем до завтра.

Я кивнул своему другу и сказал:

– Пока!

И побежал за белобрысым.

Он ушел недалеко, и я его легко догнал. Услышав шаги, парень обернулся и сказал:

– А, это ты!

Произнес таким тоном, словно сто лет меня знает и вовсе не он пять минут назад крутил сумкой перед моим носом. Но это хорошо, что он так сказал. Помог мне. Весь день меня мучила, доводила до отчаяния собственная оплошность. Хуже нет, несправедливо человека обидеть, пусть даже совершенно незнакомого, а тут ведь речь шла о старушке, которая дала мне книгу «Что я видел». Чем она виновата? Пальто у нее невиданное? Ну и что? Зато шапка какая – ободранная, щипаная такая, да и перчатки с обрезанными пальцами. Ведь холодно, а она нарочно обрезала перчатки, чтобы записывать удобнее, какую кому книжку выдала. Весь наш класс к ней в библиотеку записался, и весь же класс хохотал, когда я – надо же! – не сказал, а только предположил, что она графиня... Какая дикая несправедливость, и эта несправедливость, придуманная мной, можно сказать, моя собственная несправедливость мучила и терзала меня весь день, и больше всего на свете я хотел избавиться от своей несправедливости, от своей вины.

– Ты ее внук? – начал я с самого главного.

– Все мы чьи-нибудь внуки, – ответил мне парень довольно сурово. Что-то быстро менялось у него настроение.

– Ну, старушки! Из библиотеки?

Парень покосился на меня и ответил:

– Допустим!

И я, захлебываясь, путаясь, повторяясь и, пожалуй, теряя оттого всякую убедительность, принялся объяснять этому внуку, как я записывался в библиотеку, как дали книгу и как я был потрясен удивительным, замечательным, неповторимым пальто его бабушки – таких не было ни у кого во всем нашем городе, а бабушка – моя бабушка! – сказала, что раньше, то есть до революции, так одевались только богатые барыни, вот я и подумал, а вдруг старушка из библиотеки – бывшая графиня.

Я испугался: еще бы, парень, отвернувшись от меня, остановился и начал тихо падать. Сперва он опустил голову, потом согнулся в животе, наконец у него сломались коленки, и он рухнул на снег. Да еще и заикал. Это уж потом, через минуту, я понял, что он так смеется. Поикав, он захохотал. Валялся по снегу и ржал как помешанный. Будто какой-то с ним приступ.

Испуг у меня, конечно, прошел, но валяться от смеха в снегу рядом с этим парнем я не собирался. Что виноват, я понимаю, а хохотать у меня особых причин нет.

Это длилось минут пять. Уже толпа собиралась: две девчонки, похоже первоклассницы, шептались неподалеку. Какой-то красноносый дед с поднятым воротником – еще не остановился, но уже замедлил шаг, качая головой, бормотал что-то в сивые усы. А самое главное – из-за угла появилась наша Анна Николаевна. Окинув нас зорким взглядом, она, конечно же, сразу узнала меня, но бежать, скрываться теперь было бы самым пустым и к тому же бесславным делом. Я топтался над парнем, который все еще хохотал, и умирал от неловкости. Днем столкнул с парты Вовку, отсопел с ним вахту возле печки, а теперь снова в каком-то дурацком положении. Не дай бог, еще подумает, что в снег этого парня свалил я, доказывай потом, объясняйся!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.